

Андрей ПЛАТОНОВ

РЕКА ПОТУДАНЬ



im WERDEN-VERLAG
MOCKBA - AUGSBURG 2002

© Андрей Платонов. Река Потудань. 1936 // Андрей Платонов. Течение времени.
Повести, рассказы. М., стр. 309-333.
© «Im-Werden-Verlag», 2002

<http://www.imwerden.de>
info@imwerden.de

Трава опять отросла по набитым грунтовыми дорогам гражданской войны, потому что война прекратилась. В мире, по губерниям снова стало тихо и малоллюдно: некоторые люди умерли в боях, многие лечились от ран и отдыхали у родных, забывая в долгих снах тяжелую работу войны, а кое-кто из демобилизованных еще не успел вернуться домой и шел теперь в старой шинели, с походной сумкой, в мягком шлеме или овечьей шапке, — шел по густой, незнакомой траве, которую раньше не было времени видеть, а может быть — она просто была затоптана походами и не росла тогда. Они шли с обмершим, удивленным сердцем, снова узнавая поля и деревни, расположенные в окрестности по их дороге; душа их уже переменялась в мучении войны, в болезнях и в счастье победы, — они шли теперь жить точно впервые, смутно помня себя, какими они были три-четыре года назад, потому что они превратились совсем в других людей — они выросли от возраста и поумнели, они стали терпеливей и почувствовали внутри себя великую всемирную надежду, которая сейчас стала идеей их пока еще небольшой жизни, не имевшей ясной цели и назначения до гражданской войны.

Поздним летом возвращались домой последние демобилизованные красноармейцы. Они задержались по трудовым армиям, где занимались разным незнакомым ремеслом и тосковали, и лишь теперь им велели идти домой к своей и общей жизни.

По взгорью, что далеко простерто над рекою Потудань, уже вторые сутки шел ко двору, в малоизвестный уездный город, бывший красноармеец Никита Фирсов. Это был человек лет двадцати пяти от роду, со скромным, как бы постоянно опечаленным лицом, — но это выражение его лица происходило, может быть, не от грусти, а от сдержанной доброты характера либо от обычной сосредоточенности молодости. Светлые, давно не стриженные волосы его опускались из-под шапки на уши, большие серые глаза глядели с угрюмым напряжением в спокойную, скучную природу однообразной страны, точно пешеход был нездешний.

В полдень Никита Фирсов прилег около маленького ручья, текущего из родника по дну балки в Потудань. И пеший человек дремал на земле под солнцем, в сентябрьской траве, уже уставшей расти здесь с давней весны. Теплота жизни словно потемнела в нем, и Фирсов уснул в тишине глухого места. Насекомые летали над ним, плыла паутина, какой-то бродяга-человек переступил через него и, не тронув спящего, не заинтересовавшись им, пошёл дальше по своим делам. Пыль лета и долгого бездождия высоко стояла в воздухе, сделал более неясным и слабым небесный свет, но все равно время мира, как обычно, шло вдальке вослед солнцу... Вдруг Фирсов поднялся и сел, тяжело, испуганно дыша, точно он запалился в невидимом беге и борьбе. Ему приснился страшный сон, что его душит своею горячей шерстью маленькое, упитанное животное, вроде полевого зверька, откормившегося чистой пшеницей. Это животное, взмокая потом от усилия и жадности, залезло спящему в рот, в горло, стараясь пробраться цепкими лапками в самую середину его души, чтобы сжечь его дыхание. Задохнувшись во сне, Фирсов хотел вскрикнуть, побежать, но зверек самостоятельно вырвался из него, слепой, жалкий, сам напуганный и дрожащий, и скрылся в темноте своей ночи.

Фирсов умылся в ручье и прополоскал рот, а потом пошел скорее дальше; дом его отца уже был близко, и к вечеру можно успеть дойти до него.

Как только смерклось, Фирсов увидел свою родину в смутной, начавшейся ночи. То было покатое, медленное нагорье, подымавшееся от берегов Потудани к ржаным, возвышенным полям. На этом нагорье расположился небольшой город, почти невидимый сейчас благодаря темноте. Ни одного огня не горело там.

Отец Никиты Фирсова спал сейчас: он лег, как только вернулся с работы, когда еще солнце не зашло. Он жил в одиночестве, жена его давно умерла, два сына исчезли на империалистической войне, а последний сын, Никита, был на гражданской: он, может быть, еще вернется, — думал про последнего сына отец, — гражданская война идет близко около домов и по дворам, и стрельбы там меньше, чем на империалистической. Спал отец помногу — с вечерней зари до утренней, — иначе, если не спать, он начинал думать разные мысли, воображать забытое, и сердце его мучилось в тоске по утраченным сыновьям, в печали по своей скучно прошедшей жизни. С утра он сразу уходил в мастерскую крестьянской мебели, где он уже много лет работал столяром, — и там, среди работы, ему было более терпимо, он забывался. Но к вечеру ему делалось хуже в душе, и, вернувшись на квартиру, в одну комнату, он поскорее, почти в испуге, засыпал до завтрашнего утра; ему и керосин был не нужен. А на рассвете мухи начинали кусать его в лысину, старик просыпался и долго, помаленьку, бережно одевался, обувался, умывался, вздыхал, топтался, убирал комнату, бормотал сам с собою, выходил наружу, смотрел там погоду и возвращался, — лишь бы потратить ненужное время, что оставалось до начала работы в мастерской крестьянской мебели.

В нынешнюю ночь отец Никиты Фирсова спал, как обычно, по необходимости и от усталости. Сверчок, уже которое лето, жил себе в завалинке дома и напевал оттуда в вечернее время — не то это был тот же самый сверчок, что и в позапрошлом лето, не то внук его. Никита подошел к завалинке и постучал в окошко отца; сверчок умолк на время, словно он прислушивался, кто это пришел — незнакомый, поздний человек. Отец слез с деревянной старой кровати, на которой он спал еще с покойной матерью всех своих сыновей, и сам Никита родился когда-то на этой же кровати. Старый, худой человек был сейчас в подштанниках, от долгой носки и стирки они сели и сузились, поэтому приходились ему только до колен. Отец близко прислонился к оконному стеклу и глядел оттуда на сына. Он уже увидел, узнал своего сына, но все еще смотрел и смотрел на него, желая наглядеться. Потом он побежал, небольшой и тощий, как мальчик, кругом через сени и двор — отворять запертую на ночь калитку.

Никита вошел в старую комнату, с лежанкой, низким потолком, с одним маленьким окном на улицу. Здесь пахло тем же запахом, что и в детстве, что и три года назад, когда он ушел на войну; даже запах материнского подола еще чувствовался тут — в единственном месте на всем свете. Никита снял сумку и шапку, медленно разделся и сел на кровать. Отец все время стоял перед ним, босой и в подштанниках, не смея еще ни поздороваться как следует, ни заговорить.

— Ну как там буржуи и кадеты? — спросил он немного погодя. — Всех их побили иль еще маленько осталось?

— Да нет, почти всех, — сказал сын.

Отец кратко, но серьезно задумался: все-таки ведь целый класс умертвили, это большая работа была.

— Ну да, они же квёлые! — сообщил старик про буржуев. — Чего они могут, они только даром жить привыкли...

Никита встал перед отцом, он был теперь выше его головы на полторы. Старик молчал около сына в скромном недоумении своей любви к нему. Никита положил руку на голову отца и привлек его к себе на грудь. Старый человек прислонился к сыну и начал часто, глубоко дышать, словно он пришел к своему отдыху.

* * *

На одной улице того же города, выходявшей прямо в поле, стоял деревянный дом с зелеными ставнями. В этом доме жила когда-то вдовья старушка, учительница городского училища; вместе с нею жили ее дети — сын, мальчик лет десяти, и дочь, белокурая девочка Люба, пятнадцати лет.

Отец Никиты Фирсова хотел несколько лет тому назад жениться на вдовой учительнице, но вскоре сам оставил свое намерение. Два раза он брал с собою в гости к учительнице Никиту, тогда еще мальчика, и Никита видел там задумчивую девочку Любу, которая сидела и читала книжки, не обращая внимания на чужих гостей.

Старая учительница угощала столяра чаем с сухарями и говорила что-то о просвещении народного ума и о ремонте школьных печей. Отец Никиты сидел все время молча; он стеснялся, кашлял, кашлял и курил сигарки, а потом с робостью пил чай из блюдца, не трогая сухарей, потому что, дескать, давно уже сыт.

В квартире учительницы, во всех ее двух комнатах и в кухне, стояли стулья, на окнах висели занавески, в первой комнате находились пианино и шкаф для одежды, а в другой, дальней, комнате имелись кровати, два мягких кресла из красного бархата и там же на стенных полках помещалось много книг, — наверно, целое собрание сочинений. Отцу и сыну эта обстановка казалась слишком богатой, и отец, посетив вдову всего два раза, перестал к ней ходить. Он даже не управился ей сказать, что хочет на ней жениться. Но Никите было интересно увидеть еще раз пианино и читающую, задумчивую девочку, поэтому он просил отца жениться на старушке, чтобы ходить к ней в гости.

— Нельзя, Никит! — сказал в то время отец. — У меня образования мало, о чем я с ней буду говорить! А к нам их позвать — стыдно: у нас посуды нету, харчи нехорошие... Ты видал, у них кресла какие? Старинные, московские! А шкаф? По всем фасах резьба и выборка: я понимаю!.. А дочь! Она, наверно, курсисткой будет.

И отец теперь уже несколько лет не видел своей старой невесты, лишь иногда он, может быть, скучал по ней или просто размышлял.

На другой день после возвращения с гражданской войны Никита пошел в военный комиссариат, чтобы его отметили там в запас. Затем Никита обошел весь знакомый, родной город, и у него заболело сердце от вида устаревших, небольших домов, сотлевших заборов и плетней и редких яблонь по дворам, многие из которых уже умерли, засохли навсегда. В его детстве эти яблони еще были зелеными, а одноэтажные дома казались большими и богатыми, населенными таинственными умными людьми, и улицы тогда были длинными, лопухи высокими, и бурьян на пустырях, на заброшенных огородах представлялся в то давнее время лесною, жуткою чащей. А сейчас Никита увидел, что маленькие дома жителей были жалкими, низкими, их надо красить и ремонтировать, бурьян на пустых местах беден, он растет не страшно, а заунывно, обитаемый лишь старыми, терпеливыми муравьями, и все улицы скоро кончались волевою землей, светлым небесным пространством, — город стал небольшим. Никита подумал, что, значит, им уже много жизни прожито, если большие, таинственные предметы обратились в маленькие и скучные.

Он медленно прошел мимо дома с зелеными ставнями, куда он некогда ходил в гости с отцом. Зеленую краску на ставнях он знал только по памяти, теперь от нее остались одни слабые следы, — она выцвела от солнца, была вымыта ливнями и дождями, вылиняла до древесины; и железная крыша на доме уже сильно заржавела — теперь, наверно, дожди проникают через крышу и мокнет потолок над пианино в квартире. Никита внимательно посмотрел в окна этого дома; занавесок на окнах теперь не было, по ту сторону стекол виднелась чужая тьма. Никита

сел на скамейку около калитки обветшалого, но все же знакомого дома. Он думал, что, может быть, кто-нибудь заиграет на пианино внутри дома, тогда он послушает музыку. Но в доме было тихо, ничего не известно. Подождав немного, Никита поглядел в щель забора на двор, там росла старая крапива, пустая тропинка вела меж ее зарослями в сарай и три деревянные ступеньки подымались в сени. Должно быть, умерли уже давно и учительница-старушка, и ее дочка Люба, а мальчик ушел добровольцем на войну...

Никита направился к себе домой. День пошел к вечеру, — скоро отец придет ночевать, надо будет подумать с ним, как жить дальше и куда поступать на работу.

На главной улице уезда было небольшое гулянье, потому что народ начал оживать после войны. Сейчас по улице шли служащие, курсистки, демобилизованные, выздоравливающие от ран, подростки, люди домашнего и кустарного труда и прочие, а рабочий человек выйдет сюда на прогулку позже, когда совсем смеркнется. Одеты люди были в старую одежду, по-бедному, либо в поношенное военное обмундирование времен империализма.

Почти все прохожие, даже те, которые шли под руку, будучи женихами и невестами, имели при себе что-нибудь для хозяйства. Женщины несли в домашних сумках картофель, а иногда рыбу, мужчины держали под мышкой пайковый хлеб или половину коровьей головы либо скупое хранили в руках требуху на приварок. Но редко кто шел в унынии, разве только вовсе пожилой, истомленный человек. Более молодые обычно смеялись и близко глядели в лица друг другу, воодушевленные и доверчивые, точно они были накануне вечного счастья.

— Здравствуйте! — несмело со стороны сказала женщина Никите Фирсову.

И голос тот сразу коснулся и согрел его, будто кто-то, дорогой и потерянный, отозвался ему на помощь. Однако Никите показалось, что это ошибка и это поздоровались не с ним. Боясь ошибиться, он медленно поглядел на ближних прохожих. Но их сейчас было всего два человека, и они уже миновали его. Никита оглянулся, — большая, выросшая Люба остановилась и смотрела в его сторону. Она грустно и смущенно улыбалась ему.

Никита подошел к ней и бережно оглядел ее — точно ли она сохранилась вся в целости, потому что даже в воспоминании она для него была драгоценность. Австрийские башмаки ее, зашнурованные бечевой, сильно износились, кисейное, бледное платье доходило ей только до колен, больше, наверно, не хватило материала, — и это платье заставило Никиту сразу сжалиться над Любой — он видел такие же платья на женщинах в гробах, а здесь кисея покрывала живое, выросшее, но бедное тело. Поверх платья был надет старый дамский жакет, — наверно, его носила еще мать Любы в свою девичью пору, -- а на голове Любы ничего не было, одни простые волосы, свитые пониже шеи в светлую прочную косу.

— Вы меня не помните? — спросила Люба.

— Нет, я вас не забыл, — ответил Никита.

— Забывать никогда не надо, — улынулась Люба.

Ее чистые глаза, наполненные тайною душою, нежно глядели на Никиту, словно любовались им. Никита также смотрел в ее лицо, и его сердце радовалось и болело от одного вида ее глаз, глубоко запавших от житейской нужды и освещенных доверчивой надеждой.

Никита пошел с Любой одной к ее дому, — она жила все там же. Мать ее умерла не так давно, а младший брат кормился в голод около красноармейской полевой кухни, потом привык там бывать я ушел вместе с красноармейцами на юг против неприятеля.

— Он кашу там есть привык, а дома ее не было, — говорила Люба про брата.

Люба теперь жила лишь в одной комнате, — больше ей не надо. С замершим чувством Никита осмотрелся в этой комнате, где он в первый раз видел Любу, пианино и богатую обстановку. Сейчас здесь не было уже ни пианино, ни шкафа с резьбою по всему фасу, остались одни два мягких кресла, стол и кровать, и сама комната теперь перестала быть такою интересной и загадочной, как тогда, в ранней юности, — обои на стенах выцвели и ободрались, пол истерся, около изразцовой печи находилась небольшая железная печка, которую можно истопить горстью щепок, чтобы немного согреться около нее.

Люба вынула общую тетрадь из-за пазухи, потом сняла башмаки и осталась босая. Она училась теперь в уездной академии медицинских наук: в те годы по всем уездам были университеты и академии, потому что народ желал поскорее приобрести высшее знание; бессмысленность жизни, так же как голод и нужда, слишком измучили человеческое сердце, и надо было понять, что же есть существование людей, это — серьезно или нарочно?

— Они мне ноги трут, — сказала Люба про свои башмаки. — Вы посидите еще, а я лягу спать, а то мне очень сильно есть хочется, а я не хочу думать об этом...

Люба, не раздеваясь, залезла под одеяло на кровати и положила косу себе на глаза.

Никита молча просидел часа два-три, пока Люба не проснулась. Тогда уже настала ночь, и Люба встала в темноте.

— Моя подруга, наверно, сегодня не придет, — грустно сказала Люба.

— А что — она вам нужна? — спросил Никита.

— Даже очень, — произнесла Люба. — У них большая семья и отец военный, она мне приносит ужин, если у нее что-нибудь останется... Я поем, и мы с ней начинаем заниматься...

— А керосин у вас есть? — спросил Никита.

— Нет, мне дрова дали... Мы печку зажигаем — мы на полу садимся и видим от огня.

Люба беспомощно, стыдливо улыбнулась, словно ей пришла на ум жестокая и грустная мысль.

— Наверно, ее старший брат, мальчишка, не заснул, — сказала она. — Он не велит, чтоб меня его сестра кормила, ему жалко... А я не виновата! Я и так не очень люблю кушать: это не я — голова сама начинает болеть, она думает про хлеб и мешает мне жить и думать другое...

— Люба! — позвал около окна молодой голос.

— Женя! — отозвалась Люба в окно.

Пришла подруга Любы. Она вынула из кармана своей куртки четыре больших печеных картошки и положила их на железную печку.

— А гистологию достала? — спросила Люба..

— Ау кого ее доставать-то! — ответила Женя. — Меня в очередь в библиотеке записали...

— Ничего, обойдемся, — сообщила Люба. — Я две первые главы на факультете на память выучила. Я буду говорить, а ты запишешь. Пройдет?

— А раньше-то! — засмеялась Женя.

Никита растопил печку для освещения тетрадей огнем и собрался уходить к отцу на ночлег.

— Вы теперь не забудете меня? — попрощалась с ним Люба.

— Нет, — сказал Никита. — Мне больше некого помнить.

* * *

Фирсов полежал дома после войны два дня, а потом поступил работать в мастерскую крестьянской мебели, где работал его отец. Его зачислили плотником на подготовку материала, и расценок его был ниже, чем у отца, почти в два раза. Но Никита знал, что это временно, пока он не привыкнет к мастерству, а тогда его переведут в столяры и заработок станет лучше.

Работать Никита никогда не отвыкал. В Красной Армии тоже люди не одной войною занимались — на долгих постоях и в резервах красноармейцы рыли колодцы, ремонтировали избышки бедняков в деревнях и сажали кустарник в вершинах действующих оврагов, чтобы земля дальше не размывалась. Война ведь пройдет, а жизнь останется, и о ней надо было заранее позаботиться.

Через неделю Никита снова пошел в гости к Любе; он понес ей в подарок вареную рыбу и хлеб — свое второе блюдо от обеда в рабочей столовой.

Люба спешила читать по книжке у окна, пользуясь тем, что еще не погасло солнце на небе; поэтому Никита некоторое время сидел в комнате у Любы молчаливо, ожидая ночной темноты. Но вскоре сумрак сравнялся с тишиной на уездной улице, а Люба потеряла свои глаза и закрыла учебную книгу.

— Как поживаете? — тихо спросила Люба.

— Мы с отцом живем, мы — ничего, — сказал Никита. — Я вам там покушать принес, — вы съешьте, пожалуйста, — попросил он.

— Я съем, спасибо, — произнесла Люба.

— А спать не будете? — спросил Никита.

— Не буду, — ответила Люба. — Я же поужинаю сейчас, я буду сыта!

Никита принес из сеней немного мелких дровишек и разжег железную печку, чтобы был свет для занятий. Он сел на пол, открыл печную дверцу и клал щепки и худые короткие поленья в огонь, стараясь, чтоб тепла было поменьше, а света побольше. Съев рыбу с хлебом, Люба тоже села на пол, против Никиты и около света из печки, и начала учить по книжке свою медицину.

Она читала молча, однако изредка шептала что-то, улыбалась и записывала мелким, быстрым почерком несколько слов в блокнот — наверно, самые важные вещи. А Никита только следил за правильным горением огня, и лишь время от времени — не часто — он смотрел в лицо Любы, но затем опять подолгу глядел на огонь, потому что боялся надоесть Любе своим взглядом. Так время шло, и Никита думал с печалью, что скоро оно пройдет совсем и ему настанет пора уходить домой.

В полночь, когда пробили часы на колокольне, Никита спросил у Любы, отчего не пришла ее подруга, по имени Женя.

— А у нее тиф повторился, она, наверное, умрет, — ответила Люба и опять стала читать медицину.

— Вот это жалко! — сказал Никита, но Люба ничего не ответила ему.

Никита представил себе в мысли больную, горячую Женю, — и, в сущности, он тоже мог бы ее искренне полюбить, если бы узнал ее раньше и если бы она была немного добра к нему. Она тоже, кажется, прекрасная: зря он ее не разглядел тогда во тьме и плохо запомнил.

— Я уже спать хочу, — прошептала Люба, вздыхая.

— А поняли все, что прочитали-то? — спросил Никита.

— Все чисто! Хотите, расскажу? — предложила Люба.

— Не надо, — отказался Никита. — Вы лучше берегите при себе, а то я все равно забуду.

Он подмел веником сор около печки и ушел к отцу.

С тех пор он посещал Любу почти каждый день, лишь иногда пропуская сутки или двое, ради того, чтоб Люба поскучала по нем. Скучала она или нет — неизвестно, но в эти пустые вечера Никита вынужден был ходить по десять, по пятнадцать верст, несколько раз вокруг всего города, желая удержаться в одиночестве, вытерпеть без утешения тоску по Любе и не пойти к ней.

У нее в гостях он обыкновенно занимался тем, что топил печь и ожидал, когда она ему скажет что-нибудь в промежутки, отвлекшись от своего учения по книге. Каждый раз Никита приносил Любе на ужин немного пищи из столовой при мастерской крестьянской мебели; обедала же она в своей академии, но там давали кушать слишком мало, а Люба много думала, училась и вдобавок еще росла, и ей не хватало питания. В первую же свою получку Никита купил в ближней деревне коровьи ноги и затем всю ночь варил студень на железной печке, а Люба до полночи занималась с книгами и тетрадами, потом чинила свою одежду, штопала чулки, мыла полы на рассвете и купалась на дворе в кадуске с дождевой водой, пока еще не проснулись посторонние люди.

Отцу Никиты было скучно жить все вечера одному, без сына, а Никита не говорил, куда он ходит. «Он сам теперь человек, — думал старик. — Мог же ведь быть убитым или раненым на войне, а раз живет — пусть ходит!»

Однажды старик заметил, что сын принес откуда-то две белые булки. Но он их сразу же завернул в отдельную бумагу, а его не угостил. Затем Никита, как обычно, надел фуражку и пошел до полночи и обе булки тоже взял с собой.

— Никит, возьми меня с собой! — попросился отец. — Я там ничего не буду говорить, я только гляну... Там интересно, — должно быть, что-нибудь выдающееся!

— В другой раз, отец, — стесняясь, сказал Никита. — А то тебе сейчас спать пора, завтра ведь на работу надо идти...

В тот вечер Никита не застал Любу, ее не было дома. Он сел тогда на лавочку у ворот и стал ожидать хозяйку. Белые булки он положил себе за пазуху и согревал их там, чтоб они не остыли до прихода Любы. Он сидел терпеливо до поздней ночи, наблюдая звезды на небе и редких прохожих людей, спешивших к детям в свои жилища, слушал звон городских часов на колокольне, лай собак по дворам и разные тихие, неясные звуки, которые днем не существуют. Он бы мог прожить здесь в ожидании, наверно, до самой своей смерти.

Люба неслышно появилась из тьмы перед Никитой. Он встал перед ней, но она сказала ему: «Идите лучше домой» — и заплакала. Она пошла к себе в квартиру, а Никита обождал еще снаружи в недоумении и пошел за Любой.

— Женя умерла, — сказала Люба ему в комнате. — Что я теперь буду делать?..

Никита молчал. Теплые булки лежали у него за пазухой — не то их надо вынуть сейчас, не то теперь уж ничего не нужно. Люба легла в одежде на кровать, отвернулась лицом к стене и плакала там сама для себя, беззвучно и почти не шевелясь.

Никита долго стоял один в ночной комнате, стесняясь помешать чужому грустному горю. Люба не обращала на него внимания, потому что печаль от своего горя делает людей равнодушными ко всем другим страдающим. Никита самовольно сел на кровать в ногах у Любы и вынул булки из-за пазухи, чтобы деть их куда-нибудь, но пока не находил для них места.

— Давайте я с вами буду теперь! — сказал Никита.

— А что вы будете делать? — спросила Люба в слезах. Никита подумал, боясь ошибиться или нечаянно обидеть Любу.

— Я ничего не буду, — отвечал он. — Мы станем жить как обыкновенно, чтоб вы не мучились.

— Обождем, нам нечего спешить, — задумчиво и расчетливо произнесла Люба. — Надо вот подумать, в чем Женю хоронить, — у них гроба нету...

— Я завтра его принесу, — пообещал Никита и положил булки на кровать.

На другой день Никита спросил разрешения у мастера и стал делать гроб; их всегда позволяли делать свободно и за материал не высчитывали. По неумению он делал его долго, но зато тщательно и особо чисто отделал внутреннее ложе для покойной девушки; от воображения умершей Жени Никита сам расстроился и немного покапал слезами в стружки. Отец, проходя по двору, подошел к Никите и заметил его расстройство.

— Ты что тоскуешь: невеста умерла? — спросил отец.

— Нет, подруга ее, — ответил он.

— Подруга? — сказал отец. — Да чума с ней!.. Дай я тебе борта в гробу поровняю, у тебя некрасиво вышло, точности не видать!

После работы Никита понес гроб к Любе; он не знал, где лежит ее мертвая подруга.

В тот год долго шла теплая осень, и народ был доволен. «Хлебу вышел недород, так мы на дровах сбережем», — говорили экономические люди. Никита Фирсов загодя заказал сшить из своей красноармейской шинели женское пальто для Любы, но пальто уже приготовили, а надобности, за теплым временем, в нем все еще не было. Никита по-прежнему ходил к Любе на квартиру, чтобы помогать ей жить и самому в ответ получать питание для наслаждения сердца.

Он ее спрашивал один раз, как они дальше будут жить — вместе или отдельно. А она отвечала, что до весны не имеет возможности чувствовать свое счастье, потому что ей надо поскорее окончить академию медицинских знаний, а там — видно будет. Никита выслушал это далекое обещание, но не требовал большего счастья, чем оно уже есть у него благодаря Любе, и он не знал есть ли оно еще лучшее, но сердце его продрогло от долгого терпения и неуверенности — нужен ли он Любе сам по себе, как бедный, малограмотный, демобилизованный человек. Люба иногда с улыбкой смотрела на него своими светлыми глазами, в которых находились большие, черные, непонятные точки, а лицо ее вокруг глаз было исполнено добром.

Однажды Никита заплакал, покрывая Любу на ночь одеялом перед своим уходом домой, а Люба только погладила его по голове и сказала: «Ну будет вам, нельзя так мучиться, когда я еще жива».

Никита поспешил уйти к отцу, чтобы там укрыться, опомниться и не ходить к Любе несколько дней подряд. «Я буду читать, — решал он, — и начну жить по-настоящему, а Любу забуду, не стану ее помнить и знать. Что она такое особенное — на свете великие миллионы живут, еще лучше ее есть. Она некрасивая!»

Наутро он не встал с подстилки, на которой спал на полу. Отец, уходя на работу, попробовал его голову и сказал:

— Ты горячий: ложись на кровать! Поболей немножко, потом выздоровеешь... Ты на войне нигде не раненый?

— Нигде, — ответил Никита.

Под вечер он потерял память; сначала он видел все время потолок и двух поздних предсмертных мух на нем, приютившихся греться там для продолжения жизни, а потом эти же предметы стали вызывать в нем тоску, отвращение, — потолок и мухи словно забрались к нему внутрь мозга, их нельзя было изгнать оттуда и перестать думать о них все более увеличивающейся мыслью, съедающей уже головные кости. Никита закрыл глаза, но мухи кипели в его мозгу, он вскочил с кровати, чтобы прогнать мух с потолка, и упал обратно на подушку: ему показалось, что от подушки еще пахло материнским дыханием — мать ведь здесь же спала рядом с отцом, — Никита вспомнил ее и забылся.

Через четыре дня Люба отыскала жилище Никиты Фирсова и явилась к нему в первый раз сама. Шла только середина дня; во всех домах, где жили рабочие, было безлюдно — женщины ушли доставать провизию, а дошкольные ребяташки разбрелись по дворам и полянам. Люба села на кровать к Никите, погладила ему лоб, протерла глаза концом своего носового платка и спросила:

— Ну что, где у тебя болит?

— Нигде, — сказал Никита.

Сильный жар уносил его в своем течении вдаль ото всех людей и ближних предметов, и он с трудом видел сейчас и помнил Любу, боясь ее потерять в темноте равнодушного рассудка; он взялся рукой за карман ее пальто, сшитого из красноармейской шинели, и держался за него, как утомленный пловец за отвесный берег, то утопая, то спасаясь. Болезнь все время стремилась увлечь его на сияющий, пустой горизонт — в открытое море, чтоб он там отдохнул на медленных, тяжелых волнах.

— У тебя грипп, наверно, я тебя вылечу, — сказала Люба. — А может, и тиф!.. Но ничего — не страшно!

Она подняла Никиту за плечи и посадила его спиной к стене. Затем быстро и настойчиво Люба передела Никиту в свое пальто, нашла отцовский шарф и повязала им голову больного, а ноги его всунула в валенки, валявшиеся до зимы под кроватью. Обхватив Никиту, Люба велела ему ступить ногами и вывела его, озябшего, на улицу. Там стоял извозчик. Люба посадила больного в пролетку, и они поехали.

— Не жилец народ живет! — сказал извозчик, обращаясь к лошади, непрерывно погоняя ее вожжами на уездную мелкую рысь.

В своей комнате Люба раздела и уложила Никиту в кровать и укрыла его одеялом, старой ковровой дорожкой, материнскую ветхую шалью — всем согревающим добром, какое у нее было.

— Зачем тебе дома лежать? — удовлетворенно говорила Люба, подтыкая одеяло под горячее тело Никиты. — Ну зачем!.. Отец твой на работе, ты лежишь целый день один, ухода ты никакого не видишь и тоскуешь по мне...

Никита долго решал и думал, где Люба взяла денег на извозчика. Может быть, она продала свои австрийские башмаки или учебную книжку (она ее сначала выучила наизусть, чтобы не нужна была), или же она заплатила извозчику всю месячную стипендию...

Ночью Никита лежал в смутном сознании: иногда он понимал, где сейчас находится, и видел Любу, которая топила печку и стряпала пищу на ней, а затем Никита наблюдал незнакомые видения своего ума, действующего отдельно от его воли в сжатой, горячей тесноте головы.

Озноб его все более усиливался. Время от времени Люба пробовала ладонью лоб Никиты и считала пульс в его руке. Поздно ночью она напоила его кипяченой, теплой водой и, сняв верхнее платье, легла к больному под одеяло, потому что Никита дрожал от лихорадки и надо было согреть его. Люба обняла Никиту и прижала к себе, а он свернулся от стужи в комок и прильнул лицом к ее груди, чтобы теснее ощущать чужую, высшую, лучшую жизнь и позабыть свое мученье, свое продрогшее пустое тело. Но Никите жалко было теперь умирать, — не ради себя, но ради того чтоб иметь прикосновение к Любе и к другой жизни, — поэтому он спросил шепотом у Любы, выздоровеет он или помрет: она ведь училась и должна знать.

Люба стиснула руками голову Никиты и ответила ему:

— Ты скоро поправишься... Люди умирают потому, что они болеют одни и некому их любить, а ты со мной сейчас... Никита пригрелся и уснул.

Недели через три Никита поправился. На дворе уже выпал снег, стало вдруг тихо повсюду, и Никита пошел зимовать к отцу; он не хотел мешать Любе до окончания академии, пусть ум ее разовьется полностью весь, она тоже из бедных людей. Отец обрадовался возвращению сына, хотя и посещал его у Любы из двух дней в третий, принося каждый раз для сына харчи, а Любе какой бы то ни было гостинец.

Днем Никита опять стал работать в мастерской, а вечером посещал Любу и зимовал спокойно; он знал, что с весны она будет его женой и с того времени наступит счастливая, долгая жизнь. Изредка Люба трогала, шевелила его, бегала от него по комнате, и тогда — после игры — Никита осторожно целовал ее в щеку. Обычно же Люба не велела ему напрасно касаться себя.

— А то я тебе надоем, а нам еще всю жизнь придется жить! — говорила она. — Я ведь не такая вкусная: тебе это кажется!..

В дни отдыха Люба и Никита ходили гулять по зимним дорогам за город или шли, полуобнявшись, по льду уснувшей реки Потудани — далеко вниз по летнему течению. Никита ложился животом и смотрел вниз под лед, где видно было, как тихо текла вода. Люба тоже устраивалась рядом с ним, и, касаясь друг друга, они наблюдали укромный поток воды и говорили, насколько счастлива река Потудань, потому что она уходит в море и эта вода подо льдом будет течь мимо берегов далеких стран, в которых сейчас растут цветы и поют птицы. Подумав об этом немного, Люба велела Никите тотчас же вставать со льда; Никита ходил теперь в старом отцовском пиджаке на вате, он ему был короток, грел мало, и Никита мог простудиться.

И вот они терпеливо дружили вдвоем почти всю долгую зиму, томимые предчувствием своего близкого будущего счастья. Река Потудань тоже всю зиму таилась подо льдом, и озимые хлеба дремали под снегом, — эти явления природы успокаивали и даже утешали Никиту Фирсова: не одно его сердце лежит в погребении перед весной. В феврале, просыпаясь утром, он прислушивался — не жужжат ли уже новые мухи, а на дворе глядел на небо и на деревья соседнего сада: может быть, уже прилетают первые птицы из дальних стран. Но деревья, травы и зародыши мух еще спали в глубине своих сил и в зачатке.

В середине февраля Люба сказала Никите, что выпускные экзамены у них начинаются двадцатого числа, потому что врачи очень нужны и народу некогда их долго ждать. А к марту экзамены уже кончатся, — поэтому пусть снег лежит и река течет подо льдом хоть до июля месяца! Радость их сердца наступит раньше тепла природы.

На это время — до марта месяца — Никита захотел уехать из города, чтобы скорее перетерпеть срок до совместной жизни с Любой. Он назвался в мастерской крестьянской мебели идти с бригадой столяров чинить мебель по сельсоветам и школам в деревнях.

Отец тем временем — к марту месяцу — сделал не спеша в подарок молодым большой шкаф, подобный тому, который стоял в квартире Любы, когда еще ее мать была приблизительной невестой отца Никиты. На глазах старого столяра жизнь повторялась уже по второму или по третьему своему кругу. Понимать это можно, а изменить пожалуй что нельзя, и, вздохнув, отец Никиты положил шкаф на санки и повез его на квартиру невесты своего сына. Снег потеплел и таял против солнца, но старый человек был еще силен и волок санки в упор даже по черному телу оголившейся земли. Он думал втайне, что и сам бы мог вполне жениться на этой девушке Любе, раз на матери ее постеснялся, но стыдно как-то и нет в доме достатка, чтобы побаловать, привлечь к себе подобную молодую девицу. И отец Никиты полагал

отсюда, что жизнь далеко не нормальна. Сын вот только явился с войны и опять уходит из дома, теперь уж навсегда. Придется, видно, ему, старику, взять к себе хоть побирушку с улицы — не ради семейной жизни, а чтоб, вроде домашнего ежа или кролика, было второе существо в жилище: пусть оно мешает жить и вносит нечистоту, но без него перестанешь быть человеком.

Сдав Любе шкаф, отец Никиты спросил у нее, когда ему нужно приходиться на свадьбу.

— А когда Никита придет: я готова! — сказала Люба.

Отец ночью пошел на деревню за двадцать верст, где Никита работал по изготовлению школьных парт. Никита спал в пустом классе на полу, но отец побудил его и сказал ему, что пора идти в город — можно жениться.

— Ты ступай, а я за тебя парты доделаю! — сказал отец.

Никита надел шапку и сейчас же, не ожидая рассвета, отправился пешком в уезд. Он шел один всю вторую половину ночи по пустым местам; полевой ветер бродил без порядка близ него, то касаясь лица, то задувая в спину, а иногда и вовсе уходя на покой в тишину придорожного оврага. Земля по склонам и на высоких пашнях лежала темной, снег ушел с нее в низы, пахло молодой водой и ветхими травами, павшими с осени. Но осень уже забытое давнее время, — земля сейчас была бедна и свободна, она будет рожать все сначала и лишь те существа, которые никогда не жили. Никита даже не спешил идти к Любе; ему нравилось быть в сумрачном свете ночи на этой беспмятной ранней земле, забывшей всех умерших на ней и не знающей, что она родит в тепле нового лета.

Под утро Никита подошел к дому Любы. Легкая изморозь легла на знакомую крышу и на кирпичный фундамент — Любе, наверно, сладко спится сейчас в нагретой постели, и Никита прошел мимо ее дома, чтобы не будить невесту, не остужать ее тела из-за своего интереса.

К вечеру того же дня Никита Фирсов и Любовь Кузнецова записались в уездном Совете на брак, затем они пришли в комнату Любы и не знали, чем им заняться. Никите стало теперь совестно, что счастье полностью случилось с ним, что самый нужный для него человек на свете хочет жить заодно с его жизнью, словно в нем скрыто великое, драгоценное добро. Он взял руку Любы к себе и долго держал ее; он наслаждался теплотой ладони этой руки, он чувствовал через нее далекое биение любящего его сердца и думал о непонятной тайне: почему Люба улыбается ему и любит его неизвестно за что. Сам он чувствовал в точности, почему дорога для него Люба.

— Сначала давай покушаем! — сказала Люба и забрала свою руку от Никиты.

Она приготовила сегодня кое-что: по окончании академии ей дали усиленное пособие в виде продуктов и денежных средств.

Никита со стеснением стал есть вкусную, разнообразную пищу у своей жены. Он не помнил, чтобы когда-нибудь его угощали почти задаром, ему не приходилось посещать людей для своего удовольствия и еще вдобавок наедаться у них.

Покушав, Люба встала первой из-за стола. Она открыла объятия навстречу Никите и сказала ему:

— Ну!

Никита поднялся и робко обнял ее, боясь повредить что-нибудь в этом особом, нежном теле. Люба сама сжала его себе на помощь, но Никита попросил: «Подождите, у меня сердце сильно заболело», — и Люба оставила мужа.

На дворе наступили сумерки, и Никита хотел затопить печку для освещения, но Люба сказала: «Не надо, я ведь уже кончила учиться, и сегодня наша свадьба». Тогда Никита разобрал постель, а Люба тем временем разделась при нем, не зная стыда перед мужем. Никита же зашел за отцовский шкаф и там снял с себя поскорее одежду, а потом лег рядом с Любой ночевать.

Наутро Никита встал спозаранку. Он подмел комнату, затопил печку, чтобы скипятить чайник, принес из сеней воду в ведре для умывания и под конец не знал уже, что ему еще сделать, пока Люба спит. Он сел на стул и пригорюнился: Люба теперь, наверно, велит ему уйти к отцу

навсегда, потому что, оказывается, надо уметь наслаждаться, а Никита не может мучить Любу ради своего счастья, и у него вся сила бьется в сердце, приливает к горлу, не оставаясь больше нигде.

Люба проснулась и глядела на мужа.

— Не унывай, не стоит, — сказала она, улыбаясь. — У нас все с тобой наладится!

— Давай я пол вымою, — попросил Никита, — а то у нас грязно.

— Ну, мой, — согласилась Люба.

«Как он жалок и слаб от любви ко мне! — думала Люба в кровати. — Как он мил и дорог мне, и пусть я буду с ним вечной девушкой!.. Я протерплю. А может — когда-нибудь он станет любить меня меньше и тогда будет сильным человеком!»

Никита ерзал по полу с мокрой тряпкой, смывая грязь с половых досок, а Люба смеялась над ним с постели.

— Вот я и замужняя! — радовалась она сама с собой и вылезла в сорочке поверх одеяла.

Убравшись с комнатой, Никита заодно вытер влажной тряпкой всю мебель, затем разбавил холодную воду в ведре горячей и вынул из-под кровати таз, чтобы Люба умывалась над ним.

После чая Люба поцеловала мужа в лоб и пошла на работу в больницу, сказав, что часа в три она возвратится. Никита попробовал на лбу место поцелуя жены и остался один. Он сам не знал, почему он сегодня не пошел на работу, — ему казалось, что жить теперь ему стыдно и, может быть, совсем не нужно: зачем же тогда зарабатывать деньги на хлеб? Он решил кое-как дожить свой век, пока не исчахнет от стыда и тоски.

Обследовав общее семейное имущество в квартире, Никита нашел продукты и приготовил обед из одного блюда — кулеш с говядиной. А после такой работы лег вниз лицом на кровать и стал считать, сколько времени осталось до вскрытия рек, чтобы утопиться в Потудани.

— Обожду, как тронется лед: недолго! — сказал он себе вслух для успокоения и задремал.

Люба принесла со службы подарок — две плошки зимних цветов; ее там поздравили с бракосочетанием врачи и сестры милосердия. А она держалась с ними важно и таинственно, как истинная женщина. Молодые девушки из сестер и сиделок завидовали ей, одна же искренняя служащая больничной аптеки доверчиво спросила у Любы — правда или нет, что любовь -- это нечто чарующее, а замужество по любви — упоительное счастье? Люба ответила ей, что все это чистая правда, оттого и люди на свете живут.

Вечером муж и жена беседовали друг с другом. Люба говорила, что у них могут появиться дети и надо заранее об этом подумать. Никита обещал начать в мастерской делать сверхурочно детскую мебель: столик, стул и кроватку-качалку.

— Революция осталась навсегда, теперь рожать хорошо, — говорил Никита. — Дети несчастными уж никогда не будут!

— Тебе хорошо говорить, а мне ведь рожать придется! — обижалась Люба.

— Больно будет? — спрашивал Никита. — Лучше тогда не рожай, не мучайся...

— Нет, я вытерплю, пожалуй! — соглашалась Люба.

В сумерках она постелила постель, причем, чтоб не тесно было спать, она подгородила к кровати два стула для ног, а ложиться велела поперек постели. Никита лег в указанное место, умолк и поздно ночью заплакал во сне. Но Люба долго не спала, она услышала его слезы и осторожно вытерла спящее лицо Никиты концом простыни, а утром, проснувшись, он не запомнил своей ночной печали.

С тех пор их общая жизнь пошла по своему времени. Люба лечила людей в больнице, а Никита делал крестьянскую мебель. В свободные часы и по воскресеньям он работал на дворе и по дому, хотя Люба его не просила об этом, — она сама теперь точно не знала, чей это дом. Раньше он принадлежал ее матери, потом его взяли в собственность государства, но государство забыло про дом — никто ни разу не приходил справляться в целостности дома и не брал денег за квартиру. Никите это было все равно. Он достал через знакомых отца зеленой краски — медянки и выкрасил заново крышу и ставни, как только устоялась весенняя погода. С тем же

прилежанием он постепенно починил обветшалый сарай на дворе, opravил ворота и забор и собирался рыть новый погреб, потому что старый обвалился.

Река Потудань уже тронулась. Никита ходил два раза на ее берег, смотрел на потекшие воды и решил не умирать, пока Люба еще терпит его, а когда перестанет терпеть, тогда он успеет скончаться — река не скоро замерзнет. Дворовые хозяйственные работы Никита делал обычно медленно, чтобы не сидеть в комнате и не надоедать напрасно Любе. А когда он отделялся начисто, то нагребал к себе в подол рубашки глину из старого погреба и шел с ней в квартиру. Там он садился на пол и лепил из глины фигурки людей и разные предметы, не имеющие подобия и назначения, — просто мертвые вымыслы в виде горы с выросшей из нее головой животного или корневища дерева, причем корень был как бы обыкновенный, но столь запутанный, непроходимый, впившийся одним своим отростком в другой, грызущий и мучающий сам себя, что от долгого наблюдения этого корня хотелось спать. Никита нечаянно, блаженно улыбался во время своей глиняной работы, а Люба сидела тут же, рядом с ним на полу, зашивала белье, напевая песенки, что слышала когда-то, и между своим делом ласкала Никиту одною рукой — то гладила его по голове, то щекотала под мышкой. Никита жил в эти часы со сжавшимся кротким сердцем и не знал, нужно ли ему еще что-либо более высшее и могучее, или жизнь на самом деле невелика, — такая, что уже есть у него сейчас. Но Люба смотрела на него утомленными глазами, полными терпеливой доброты, словно добро и счастье стали для нее тяжким трудом. Тогда Никита мял свои игрушки, превращал их снова в глину и спрашивал у жены, не нужно ли затопить печку, чтобы согреть воду для чая, или сходить куда-нибудь по делу. — Не нужно, — улыбалась Люба. — Я сама сделаю все... И Никита понимал, что жизнь велика и, быть может, ему непосильна, что она не вся сосредоточена в его бьющемся сердце — она еще интересней, сильнее и дороже в другом, недоступном ему человеке. Он взял ведро и пошел за водой в городской колодец, где вода была чище, чем в уличных бассейнах. Никита ничем, никакой работой не мог утолить свое горе и боялся, как в детстве приближающейся ночи. Набрав воды, Никита зашел с полным ведром к отцу и посидел у него в гостях.

— Что ж свадьбу-то не сыграли? — спросил отец. — Тайком, по-советски управились?..

— Сыграем еще, — пообещал сын. — Давай с тобой сделаем маленький стол со стулом и кровать-качалку, — ты поговори завтра с мастером, чтоб дали материал... А то у нас дети, наверно, пойдут!

— Ну что ж, можно, — согласился отец. — Да ведь дети у вас скоро не должны быть: не пора еще...

Через неделю Никита поделал для себя всю нужную детскую мебель; он оставался каждый вечер свехурочно и тщательно трудился. А отец начисто отделал каждую вещь и покрасил ее.

Люба установила детскую утварь в особый уголок, убрала столик будущего ребенка двумя горшками цветов и положила на спинку стула новое вышитое полотенце. В благодарность за верность к ней и к ее неизвестным детям Люба обняла Никиту, она поцеловала его в горло, прильнула к груди и долго согревалась близ любящего человека, зная, что больше ничего сделать нельзя. А Никита, опустив руки, скрывая свое сердце, молча стоял перед нею, потому что не хотел казаться сильным, будучи беспомощным.

В ту ночь Никита выпался рано, проснувшись немного позже полуночи. Он лежал долго в тишине и слушал звон часов в городе — половина первого, час, половина второго: три раза по одному удару. На небе, за окном, началось смутное прозябание — еще не рассвет, а только движение тьмы, медленное оголение пустого пространства, и все вещи в комнате и новая детская мебель тоже стали заметны, но после прожитой темной ночи они казались жалкими и утомленными, точно призывая к себе на помощь. Люба пошевелилась под одеялом и вздохнула: может быть, она тоже не спала. На всякий случай Никита замер и стал слушать. Однако больше Люба не шевелилась, она опять дышала ровно, и Никите нравилось, что Люба лежит около него живая, необходимая для его души и не помнящая во сне, что он, ее муж, существует. Лишь бы она была цела и счастлива, а Никите достаточно для жизни одного сознания про нее. Он задремал в покое, утешаясь сном близкого милого человека, и снова открыл глаза.

Люба осторожно, почти неслышно плакала. Она накрылась с головой и там мучилась одна, сдавливая свое горе, чтобы оно умерло беззвучно. Никита повернулся лицом к Любе и увидел, как она, жалобно свернувшись под одеялом, часто дышала и угнеталась. Никита молчал. Не всякое горе можно утешить; есть горе, которое кончается лишь после истощения сердца, в долгом забвении или в рассеянности среди текущих житейских забот.

На рассвете Люба утихла. Никита обождал время, затем приподнял конец одеяла и посмотрел в лицо жены. Она покойно спала, теплая, смиренная, с сохшими слезами...

Никита встал, бесшумно оделся и ушел наружу. Слабое утро начиналось в мире, прохожий нищий шел с полной сумою посреди улицы. Никита отправился вослед этому человеку, чтобы иметь смысл идти куда-нибудь. Нищий вышел за город и направился по большаку в слободу Кантемировку, где спокон века были большие базары и жил зажиточный народ; правда, там нищему человеку подавали всегда мало, кормиться как раз приходилось по дальним, бедняцким деревням, но зато в Кантемировке было празднично, интересно, можно пожить на базаре одним наблюдением множества людей, чтобы развлеклась на время душа.

В Кантемировку нищий и Никита пришли к полудню. На околице города нищий человек сел в канавку, открыл сумку и вместе с Никитой стал угощаться оттуда, а в городе они разошлись в разные стороны, потому что у нищего были свои соображения, у Никиты их не было. Никита пришел на базар, сел в тени за торговым закрытым рундуком и перестал думать о Любе, о заботах жизни и о самом себе.

* * *

Базарный сторож жил на базаре уже двадцать пять лет и все годы жирно питался со своей тучной, бездетной старухой. Ему всегда у купцов и в кооперативных магазинах давали мясные, некондиционные остатки и отходы, отпускали по себестоимости пошивочный материал, а также предметы по хозяйству, вроде ниток, мыла и прочего. Он уже и сам издавна торговал помаленьку пустой, бракованной тарой и наживал деньги в сберкассе. По должности ему полагалось выметать мусор со всего базара, смывать кровь с торговых полок в мясном ряду, убирать публичное отхожее место, а по ночам караулить торговые навесы и помещения. Но он только прохаживался ночью по базару в теплом тулупе, а черную работу поручал босякам и нищим, которые ночевали на базаре; его жена почти всегда выливали остатки вчерашних мясных щей в помойное место, так что сторож всегда мог кормить какого-нибудь бедного человека за уборку отхожего места.

Жена постоянно наказывала ему — не заниматься черной работой, ведь у него уж борода седая вон какая отросла, — он теперь не сторож, а надзиратель.

Но разве бродягу либо нищего приучишь к вечному труду на готовых харчах: он поработает однажды, поест, что дадут, и еще попросит, а потом пропадает обратно в уезд.

За последнее время уже несколько ночей подряд сторож прогонял с базара одного и того же человека. Когда сторож толкал его, спящего, тот вставал и уходил, ничего не отвечая, а потом опять лежал или сидел где-нибудь за дальним рундуком. Однажды сторож всю ночь охотился за этим бесприютным человеком, в нем даже кровь заиграла от страсти замучить, победить чужое, утомленное существо... Раза два сторож бросал в него палкой и попадал по голове, но бродяга на рассвете все же скрылся от него, -- наверно, совсем ушел с базарной площади. А утром сторож нашел его опять — он спал на крышке выгребной ямы за отхожим местом, прямо снаружи. Сторож окликнул спящего, тот открыл глаза, но ничего не ответил, посмотрел и опять равнодушно задремал. Сторож подумал, что это — немой человек. Он ткнул наконец палкой в живот дремлющего и показал рукой, чтоб он шел за ним.

В своей казенной, опрятной квартире — из кухни и комнаты — сторож дал немому похлебку из горшка холодных щей с выжирками, а после харчей велел взять в сенях метлу, лопату, скребку, ведро с известью и прибрать начисто публичное место. Немой глядел на сторожа туманными глазами: наверно, он был и глухой еще... Но нет, едва ли, — немой забрал в сенях весь нужный инструмент и материал, как сказал ему сторож, значит — он слышит.

Никита аккуратно сделал работу, и сторож явился потом проверить, как оно получилось; для начала вышло терпимо, поэтому сторож повел Никиту на коновязь и доверил ему собрать навоз и вывезти его на тачке.

Дома сторож-надзиратель приказал своей хозяйке, чтоб она теперь не выхлестывала в помойку остатки от ужина и обеда, а сливала бы их в отдельную черепушку: пусть немой человек доедает.

— Небось и спать его в горнице класть прикажешь? — спросила хозяйка.

— Это ни к чему, — определил хозяин. — Ночевать он наружи будет: он ведь не глухой, пускай лежит и воров слушает, а услышит — мне прибежит скажет... Дай ему дерюжку, он найдет себе место и постелит...

На слободском базаре Никита прожил долгое время. Отвыкнув сначала говорить, он и думать, вспоминать и мучиться стал меньше. Лишь изредка ему ложился гнет на сердце, но он терпел его без размышления, и чувство горя в нем постепенно утомлялось и проходило. Он уже привык жить на базаре, а многолюдство народа, шум голосов, ежедневные события

отвлекали его от памяти по самом себе и от своих интересов — пищи, отдыха, желания увидеть отца. Работал Никита постоянно; даже ночью, когда Никита засыпал в пустом ящике среди умолкшего базара, к нему наведывался сторож-надзиратель и приказывал ему подремывать и слушать, а не спать по-мертвому. «Мало ли что, — говорил сторож, — намедни вон жулики две доски от ларька оторвали, пуд меда без хлеба съели...» А на рассвете Никита уже работал, он спешил убрать базар до народа; днем тоже есть нельзя было, то надо навоз накладывать из кучи на коммунальную подводу, то рыть новую яму для помоев и нечистот, то разбирать старые ящики, которые сторож брал даром у торгующих и продавал затем в деревню отдельными досками, — либо еще находилась работа.

Среди лета Никиту взяли в тюрьму по подозрению в краже москательных товаров из базарного филиала сельпо, но следствие оправдало его, потому что немой, сильно изнемогший человек был слишком равнодушен к обвинению. Следователь не обнаружил в характере Никиты и в его скромной работе на базаре как помощника сторожа никаких признаков жадности к жизни и влечения к удовольствию или наслаждению, — он даже в тюрьме не поедал всей пищи. Следователь понял, что этот человек не знает ценности личных и общественных вещей, а в обстоятельствах его дела не содержалось прямых улик. «Нечего пачкать тюрьму таким человеком!» — решил следователь.

Никита просидел в тюрьме всего пять суток, а оттуда снова явился на базар. Сторож-надзиратель уморился без него работать, поэтому обрадовался, когда немой опять показался у базарных рундуков. Старик позвал его в квартиру и дал Никите покушать свежих горячих щей, нарушив этим порядок и бережливость в своем хозяйстве. «Один раз поест — не разорит! — успокоил себя старый сторож-хозяин. — А дальше опять на вчерашнюю холодную еду перейдет, когда что останется!»

— Ступай, мусор отгреби в бакалейном ряду, — указал сторож Никите, когда тот поел хозяйские щи.

Никита отправился на привычное дело. Он слабо теперь чувствовал самого себя и думал немного, что лишь нечаянно появлялось в его мысли. К осени, вероятно, он вовсе забудет, что он такое, и, видя вокруг действие мира, — не станет больше иметь о нем представления; пусть всем людям кажется, что этот человек живет себе на свете, а на самом деле он будет только находиться здесь и существовать в беспамятстве, в бедности ума, в бесчувствии, как в домашнем тепле, как в укрытии от смертного горя...

Вскоре после тюрьмы, уже на отдании лета, — когда ночи стали длиннее, — Никита, как нужно по правилу, хотел вечером запереть дверь в отхожее место, но оттуда послышался голос:

— Погоди, малый, замыкать!.. иль и отсюда добро воруют? Никита обождал человека. Из помещения вышел отец с пустым мешком под мышкой.

— Здравствуй, Никит! — сказал сначала отец и вдруг жалобно заплакал, стесняясь слез и не утирая их ничем, чтоб не считать их существующими. — Мы думали, ты покойник давно... Значит, ты цел?

Никита обнял похудевшего, поникшего отца, — в нем тронулось сейчас сердце, отвыкшее от чувства.

Потом они пошли на пустой базар и приютились в проходе меж двух рундуков.

— А я за крупной сюда пришел, тут она дешевле, — объяснил отец. — Да вот, видишь, опоздал, базар уж разошелся... Ну, теперь переночую, а завтра куплю и отправлюсь... А ты тут что?

Никита захотел ответить отцу, однако у него ссохлось горло, и он забыл, как нужно говорить. Тогда он раскашлялся и прошептал:

— Я, ничего. А Люба жива?

— В реке утопилась, — сказал отец. — Но ее рыбаки сразу увидели и вытащили, стали отхаживать, — она и в больнице лежала: поправилась.

— А теперь жива? — тихо спросил Никита.

— Да пока еще не умерла, — произнес отец. — У нее кровь горлом часто идет: наверно, когда утопала, то простудилась. Она время плохое выбрала, — тут как-то погода испортилась, вода была холодная...

Отец вынул из кармана хлеб, дал половину сыну, и они пожевали немного на ужин. Никита молчал, а отец постелил на землю мешок и собирался укладываться.

— А у тебя есть место? — спросил отец. — А то ложись на мешок, а я буду на земле, я не простужусь, я старый...

— А отчего Люба утопилась? — прошептал Никита.

— У тебя горло, что ль, болит? — спросил отец. — Пройдет!... По тебе она сильно убивалась и скучала, вот отчего... Цельный месяц по реке Потудани, по берегу, взад-вперед за сто верст ходила. Думала, ты утонул и всплывешь, а она хотела тебя увидеть. А ты, оказывается, вот тут живешь. Это плохо...

Никита думал о Любе, и опять его сердце наполнялось горем и силой.

— Ты ночуй, отец, один, — сказал Никита. — Я пойду на Любу погляжу.

— Ступай, — согласился отец. — Сейчас идти хорошо, прохладно. А я завтра приду, тогда поговорим...

Выйдя из слободы, Никита побежал по безлюдному уездному большаку. Утомившись, он шел некоторое время шагом, потом снова бежал в свободном легком воздухе по темным полям.

Поздно ночью Никита постучал в окно к Любе и потрогал ставни, которые он покрасил когда-то зеленой краской, — сейчас ставни казались синими от темной ночи. Он прильнул лицом к оконному стеклу. От белой простыни, спустившейся с кровати, по комнате рассеивался слабый свет, и Никита увидел детскую мебель, сделанную им с отцом, — она была цела. Тогда Никита сильно постучал по оконной раме. Но Люба опять не ответила, она не подошла к окну, чтобы узнать его.

Никита перелез через калитку, вошел в сени, затем в комнату, — двери были не заперты: кто здесь жил, тот не заботился о сохранении имущества от воров.

На кровати под одеялом лежала Люба, укрывшись с головой.

— Люба! — тихо позвал ее Никита.

— Что? — спросила Люба из-под одеяла.

Она не спала. Может быть, она лежала одна в страхе и болезни или считала стук в окно и голос Никиты сном. Никита сел с краю на кровать.

— Люба, это я пришел! — сказал Никита. Люба откинула одеяло со своего лица.

— Иди скорей ко мне! — попросила она своим прежним, нежным голосом и протянула руки Никите.

Люба боялась, что все это сейчас исчезнет; она схватила Никиту за руки и потянула его к себе.

Никита обнял Любу с тою силою, которая пытается вместить другого, любимого человека внутрь своей нуждающейся души; но он скоро опомнился, и ему стало стыдно.

— Тебе не больно? — спросил Никита.

— Нет! Я не чувствую, — ответила Люба.

Он пожелал ее всю, чтобы она утешилась, и жестокая, жалкая сила пришла к нему. Однако Никита не узнал от своей близкой любви с Любой более высшей радости, чем знал ее обыкновенно, — он почувствовал лишь, что сердце его теперь господствует во всем его теле и делится своей кровью с бедным, но необходимым наслаждением.

Люба попросила Никиту — может быть, он затопит печку, ведь на дворе еще долго будет темно. Пусть огонь светит в комнате, все равно спать она больше не хочет, она станет ожидать рассвета и глядеть на Никиту.

Но в сенях больше не оказалось дров. Поэтому Никита оторвал на дворе от сарая две доски, поколол их на части и на щепки и растопил железную печь. Когда огонь прогрелся, Никита отворил печную дверцу, чтобы свет выходил наружу. Люба сошла с кровати и села на полу против Никиты, где было светло.

— Тебе ничего сейчас, не жалко со мной жить? — спросила она.

— Нет, мне ничего, — ответил Никита. — Я уже привык быть счастливым с тобой.

— Растопи печку посильней, а то я продрогла, — попросила Люба.

Она была сейчас в одной заношенной ночной рубашке, и похудевшее тело ее озябло в прохладном сумраке позднего времени.